ИЗДАТЕЛЬСТВО ГРАМОТА

Филологические науки. Вопросы теории и практики
Philology. Theory & Practice

ISSN 2782-4543 (online)
ISSN 1997-2911 (print)

2026. Том 19. Выпуск 11 | 2026. Volume 19. Issue 11
Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): philology-journal.ru

RU

«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского как акт авторского самобичевания: Раскольников – двойник писателя-петрашевца

Кирум Николас Морган

Аннотация. Цель исследования – обосновать прочтение романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» как акта авторского самобичевания – самонаказания писателя за участие в тайном обществе Н. А. Спешнева (радикальной части кружка петрашевцев), которое он впоследствии осмыслил как отречение от Бога и от народа. В статье рассматриваются психологическое понятие самонаказания и психоаналитические трактовки личности Достоевского (З. Фрейд, И. Нейфельд, И. Д. Ермаков) вместе с их критикой, реконструируются биографические истоки авторского комплекса вины, анализируются рукописные редакции и окончательный текст романа, образ Раскольникова и эпилог. Научная новизна исследования состоит в том, что сходство Раскольникова с автором рассматривается не как отдельная биографическая параллель, а как проявление комплекса самонаказания, организующего поэтику романа, при этом источником выявленного психоаналитиками чувства вины признается не эдипальная проблематика, а революционное прошлое писателя. В результате установлено: а) переход от исповеди от первого лица к рассказу «от имени автора» позволил писателю одновременно изображать и судить героя; б) Раскольников является идеологическим двойником Достоевского-петрашевца, а его преступление – доведенным до логического предела вариантом политического «преступления» автора; в) эпилог воспроизводит ключевые моменты каторжного опыта писателя. Роман предстает «явкой с повинной».

EN

Fyodor Dostoevsky's "Crime and Punishment" as an act of authorial self-flagellation: Raskolnikov as the double of the writer – a Petrashevsky Circle member

Nicholas Morgan Kierum

Abstract. The study aims to substantiate an interpretation of Fyodor Dostoevsky's "Crime and Punishment" as an act of authorial self-flagellation – that is, the writer's self-punishment for his involvement in Nikolay Speshnev's secret society, the radical wing of the Petrashevsky Circle, which Dostoevsky later came to understand as a renunciation of God and the Russian people. The article examines the psychological concept of self-punishment and psychoanalytic interpretations of Dostoevsky's personality proposed by Sigmund Freud, Isidor Neufeld, and Ivan Ermakov, together with critiques of these interpretations. The study reconstructs the biographical origins of the author's guilt complex and analyzes the novel's manuscript drafts and final text, the character of Raskolnikov, and the epilogue. The scientific originality lies in treating Raskolnikov's similarity to the author not as an isolated biographical parallel, but as an expression of a self-punishment complex that shapes the novel's poetics. The source of the sense of guilt identified by psychoanalysts is attributed not to Oedipal conflict but to the writer's revolutionary past. The study establishes that: (a) the shift from first-person confession to narration "in the author's voice" enabled Dostoevsky both to portray and to judge his protagonist; (b) Raskolnikov is the ideological double of Dostoevsky as a former member of the Petrashevsky Circle, and his crime represents a politically motivated "crime" by the author taken to its logical extreme; and (c) the epilogue recreates key elements of Dostoevsky's penal-servitude experience. The novel thus emerges as a "voluntary confession".

Научная статья (original research article) | https://doi.org/10.30853/phil20260520

© 2026 Авторы. © 2026 ООО Издательство «Грамота» (© 2026 The Authors. © 2026 Gramota Publishing, LLC). Открытый доступ предоставляется на условиях лицензии CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Введение

Проблема вины и самонаказания принадлежит к центральным в творчестве Ф. М. Достоевского. Начало ее психологическому изучению положили психоаналитики первой трети XX в. (Нейфельд, 1994; Фрейд, 1995; Ермаков, 1999), возводившие навязчивое чувство вины писателя к эдипальному комплексу и видевшие в его романах форму публичного покаяния; интерес к их построениям сохраняется и сегодня (Калашников, 2016; Горностаева, 2021). Исследуются также вина как предмет художественной мысли Достоевского (Турышева, 2017) и травматический опыт инсценированной казни, осмысленный прежде всего на материале «Идиота» (Burry, 2010). Автобиографические черты Раскольникова отмечались не раз: по словам А. А. Алексеева, «прототипом Родиона Раскольникова в какой-то степени явился сам великий писатель» (2004, с. 59). Однако это сходство обычно фиксируется как отдельная биографическая параллель. Вопрос о том, какую роль сыграло чувство вины за участие в деле петрашевцев в художественной организации романа – в смене повествовательной формы, в идейных основаниях образа героя, в композиции эпилога, – специально не рассматривался. Психоаналитическая традиция искала источник авторской вины в отношениях писателя с отцом.

В основу исследования положена гипотеза, согласно которой роман «Преступление и наказание» Достоевского может быть прочитан как акт самонаказания за «проступок», которым писатель считал участие в тайном обществе Н. А. Спешнева.

Актуальность исследования определяется, с одной стороны, сохраняющимся интересом к психоаналитическим и психобиографическим прочтениям Достоевского, с другой – потребностью в интерпретации, которая учитывала бы продуктивные наблюдения психоаналитиков, но опиралась бы на документально подтвержденные факты биографии писателя, а не на гипотетическую эдипальную проблематику.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

– соотнести понятие «самобичевание», как его определяет современная психология, с психоаналитическими трактовками личности Достоевского и их критикой;

– реконструировать биографические истоки авторского комплекса вины – участие в кружке М. В. Петрашевского и тайном обществе Н. А. Спешнева, инсценировку казни, каторгу;

– проследить, как этот комплекс отразился в творческой истории романа, в его повествовательной форме, в образе Раскольникова и в эпилоге.

Материалом для исследования послужили окончательный текст романа «Преступление и наказание» и его рукописные редакции, «Дневник писателя» за 1873 г. и письма Достоевского. Цитаты из англоязычных источников приводятся в переводе автора статьи.

Теоретическую базу исследования составляют психологическая концепция самонаказания (Vel-Palumbo, Woodyatt, Wenzel, 2018), психобиографический подход, представление М. М. Бахтина (2002) о герое Достоевского как идеологе, биографические исследования (Мочульский, 1980; Frank, 1983) и работы о творческой истории и поэтике «Преступления и наказания» (Ветловская, 1996; Иванчикова, 2001; Алексеев, 2004).

В работе применялись следующие методы: сопоставительный анализ психологической концепции самонаказания и психоаналитических трактовок личности Достоевского, позволивший выявить, какие наблюдения З. Фрейда (1995), И. Нейфельда (1994) и И. Д. Ермакова (1999) соответствуют структуре самонаказания, а также изъяны их аргументов и редукционизм сделанных ими выводов; психобиографический метод, с помощью которого на материале писем Достоевского, «Дневника писателя» за 1873 г. и биографических исследований реконструированы истоки авторского комплекса вины; сопоставление рукописных редакций романа с окончательным текстом, давшее возможность проследить эволюцию замысла и образа героя; элементы нарратологического анализа, позволившие описать функции рассказа «от имени автора»; мотивный анализ, благодаря которому в образе Раскольникова и в эпилоге выявлены мотивы, восходящие к биографии и каторжному опыту писателя.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использовать его результаты в вузовских курсах истории русской литературы XIX в. и в спецкурсах по творчеству Достоевского.

Обсуждение и результаты

Самобичевание и психоаналитическая традиция

Современная психология рассматривает самобичевание как разновидность самонаказания, вызванного чувством вины за проступок, который нарушил отношения индивида с другой стороной. Самонаказание служит не только попыткой преодолеть этот разрыв через раскаяние, но и способом осмыслить собственный проступок, а для некоторых – и заявить о своей «приверженности моральному порядку» (Vel-Palumbo, Woodyatt, Wenzel, 2018); формы его разнообразны – «от физического вреда до ограничений в еде» (Vel-Palumbo, Woodyatt, Wenzel, 2018, p. 764). Необходимо сразу уточнить, что эти данные получены на материале повседневного поведения, и их перенос на литературное творчество требует осторожности. Во избежание редукционизма они используются не как доказательство, а как рабочая модель, позволяющая описать структуру авторского самонаказания: проступок, вину, стремление осмыслить проступок и восстановить нарушенную связь.

Сам термин «самобичевание» к творчеству Достоевского специально не применялся, однако проблематика вины и самонаказания писателя оказалась в центре психоаналитических интерпретаций. З. Фрейд в статье «Достоевский и отцеубийство» (1928) представил писателя человеком, попеременно грешащим и кающимся, – «в главном – садист по отношению к себе, следовательно, мазохист» (1995, с. 286). Источник навязчивого чувства вины Фрейд усматривал в амбивалентном отношении Достоевского к отцу: бессознательное желание его смерти после убийства отца крепостными приравнивалось в психике писателя к самому преступлению и порождало потребность в наказании. Эпилепсия при таком подходе – «лишь симптом его невроза» (Фрейд, 1995, с. 286), а в «Братьях Карамазовых» писатель, по Фрейду, вернулся «к первопреступнику, отцеубийце» и вложил в него «свою литературную исповедь» (Фрейд, 1995, с. 292). И. Нейфельд объяснял колебания Достоевского между верой и неверием эдипальным комплексом и заключал: «Жизнь и творчество Достоевского, его дела и чувства, его судьба – все возникает из комплекса Эдипа» (1994, с. 88). И. Д. Ермаков описывал творчество писателя как жестокое самоисследование, в котором автор, как «неумолимый хирург, все дальше и дальше рассекает, разрывает живые, нежные, болезненные ткани» (1999, с. 349). Поскольку плоды такой «вивисекции» «неизбежно носят на себе автобиографические черты» (Ермаков, 1999, с. 407), самоисследование приобретает исповедальный характер, а «психическая раздвоенность» писателя, по Ермакову, «создает двойника, соответствующего проекции внутренней расщепленности» (1999, с. 410).

Односторонность этих трактовок отмечалась неоднократно. По словам А. О. Большева, в психоаналитической литературе о Достоевском выявление постоянных тем писателя «подменяется <…> откровенным и незатейливым вчитыванием в дискурс писателя эдипальной проблематики» (2011, с. 59), а сами интерпретаторы пытаются «трактовать великого писателя как невротика, способного лишь на монотонное репродуцирование одного-единственного мотива» (2011, с. 61). Х. Миндесс считает аргументы Фрейда «ошибочными», а его доказательства «искаженными» и, в частности, оспаривает тезис о невротической природе эпилепсии Достоевского: сын писателя «умер от эпилепсии в младенчестве, что убедительно указывает на то, что болезнь была наследственной и, следовательно, генетической» (Mindess, 1967, p. 449). Вместе с тем оба исследователя признают ценность психоаналитических наблюдений: попытка «обнаружить в дискурсе писателя невротические инварианты весьма резонна и правомерна» (Большев, 2011, с. 61), а Миндесс находит «и истину, и изобретательность» в выводе Фрейда о «Братьях Карамазовых» как поэтической исповеди писателя: представив творчество как «катартическую публичную исповедь», Фрейд проложил путь для литературоведческих исследований, хотя истина этого вывода, по словам Миндесса, «лишь фрагментарна» (Mindess, 1967, p. 449-450).

Психоаналитики, таким образом, распознали в Достоевском черты, соответствующие приведенному определению самобичевания, – вину и потребность в наказании, реализуемую в исповедальном творчестве, где герои становятся носителями мучающих автора идей, – а также внутреннюю двойственность, но ошибочно возвели их к эдипальной проблематике. Ключевой «проступок» следует искать в революционном прошлом писателя. Замена одного источника вины другим не должна, впрочем, повторять ошибку психоаналитиков: речь идет не о единственном мотиве, объясняющем все творчество, а лишь об одном из пластов художественного мира Достоевского.

Дело петрашевцев как источник комплекса вины

В середине 1840-х гг. Достоевский стал посещать «пятницы» М. В. Петрашевского, где обсуждались литературные, общественные и политические вопросы и распространялась запрещенная литература. Идеология кружка опиралась на учение Ш. Фурье и других утопических социалистов, однако реальной угрозы для власти он не представлял: по словам К. В. Мочульского, «никакого заговора Петрашевского» не существовало (Мочульский, 1980, с. 97). Иначе обстояло дело с образовавшимся внутри кружка тайным обществом Н. А. Спешнева, члены которого намеревались «готовить народ к восстанию» (Мочульский, 1980, с. 104). Достоевский вошел в него в 1848 г. и, по свидетельству доктора С. Д. Яновского, называл Спешнева своим Мефистофелем; в бумагах Спешнева была найдена подписка, обязывавшая к участию «в восстании и драке» (Мочульский, 1980, с. 109). Идейную почву для этого шага подготовил В. Г. Белинский: писатель, по собственному признанию, «страстно принял всё учение его» (Достоевский, 1980, с. 12), а идеи о «безнравственности самых оснований (христианских) современного общества» «захватывали <…> наши сердца и умы во имя какого-то великодушия» (Достоевский, 1980, с. 131). Вступление в общество Спешнева можно, следовательно, считать моментом, когда Достоевский, по собственному позднейшему ощущению, стал революционером и окончательно отрекся от Бога. Впоследствии, по словам биографа, писатель «считал революционный период своей жизни отречением от Христа и грехом против русского народа» (Мочульский, 1980, с. 107).

В апреле 1849 г. петрашевцы были арестованы. На следствии Достоевский держался твердо и никого из товарищей не выдал (Frank, 1983, p. 33), однако вместе с другими был приговорен к смертной казни, в последний момент замененной каторгой (Frank, 1983, p. 52-59). Ключевым представляется то обстоятельство, что на Семеновском плацу приговоренные, за единственным исключением, отказались от покаяния перед священником (Frank, 1983, p. 54). Спустя почти четверть века, в статье «Одна из современных фальшей» (1873) писатель вспоминал: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния»; «те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!» (Достоевский, 1980, с. 133).

На первый взгляд, это свидетельство противоречит тезису о комплексе вины: петрашевцы не раскаивались, и даже в 1873 г. писатель настаивает на благонамеренности петрашевцев: «Нет, мы не были буянами,

даже, может быть, не были дурными молодыми людьми» (Достоевский, 1980, с. 133). Однако в той же статье он называет то, что изменило их убеждения: «…непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его» (Достоевский, 1980, с. 134). Отказ от покаяния на эшафоте описан, таким образом, как исходная точка – состояние, из которого писатель вышел лишь на каторге и лишь через соединение с народом. Годы в остроге Достоевский вспоминал как время, когда был «похоронен живой и закрыт в гробу» (Достоевский, 1985a, с. 181); единственной его книгой там было Евангелие, подаренное Н. Д. Фонвизиной (Мочульский, 1980, с. 121), – по словам самого писателя, «единственная книга, позволенная в остроге» (Достоевский, 1980, с. 12). Там, по словам биографа, началось «перерождение убеждений» – с «беспощадного суда над самим собой и над всей прошлой жизнью» (Мочульский, 1980, с. 123-124).

Но и позднее Достоевский не мог ни до конца отречься от прежних убеждений – в 1854 г. он пишет о себе: «…я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки» (Достоевский, 1985a, с. 176), – ни оправдать их: «*Нечаевым,* вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы… во дни моей юности» (Достоевский, 1980, с. 129). Вина, которую невозможно ни окончательно признать, ни окончательно отвергнуть, не разрешается однократным покаянием. Проступком, порождающим комплекс самобичевания, следует считать участие в обществе Спешнева, осознанное писателем как разрыв с Богом и – шире – с «богоносным» русским народом; главным симптомом комплекса – колебания между верой и неверием; главной формой самонаказания – творчество. Проявления того же комплекса обнаруживаются и в поведении писателя после каторги – в склонности к самоунижению и игромании. Еще И. Д. Ермаков, отмечавший ипохондричность Достоевского, писал, что после припадков его охватывало «чувство вины, чувство, что он совершил какое-то преступление, жуткий страх смерти» (1999, с. 357).

Вывод о творчестве как главной форме самонаказания согласуется с тезисом А. Келли о том, что «идеологические конфликты в романах непосредственно отражали неразрешимые дилеммы в личной моральной жизни Достоевского» (Kelly, 1988, p. 242). Герой Достоевского, по М. М. Бахтину, «не только сознающий, – он идеолог» (2002, с. 89); наделяя героев собственными идеями и сталкивая их между собой, писатель словно изгонял из себя мучительные идеи и подвергал своих художественных представителей – а значит, и себя – жестоким нравственным испытаниям. Эта тема не исчерпывается одним романом: через несколько лет после «Преступления и наказания» писатель изображает революционный кружок в «Бесах», а в упомянутой ранее статье «Одна из современных фальшей», комментируя замысел этого романа, прямо соотносит нечаевцев с петрашевцами и с самим собой.

Смена повествовательной формы

Замысел исповедального романа сложился у Достоевского на каторге, то есть в период напряженного осмысления собственного революционного прошлого. О задуманном романе «Исповедь», в который «все сердце мое, с кровью положится», он писал брату в 1859 г.: «Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения» (Достоевский, 1985a, с. 351). Есть основания связывать с этим замыслом «Преступление и наказание»: работа над романом началась лишь в 1865 г., однако в ранней редакции он писался как исповедь убийцы (Иванчикова, 2001, с. 118), а в письме М. Н. Каткову сам писатель определял замысел как «психологический отчет одного преступления» (Достоевский, 1985b, с. 136). Лишь затем, по наблюдению А. А. Алексеева, главной задачей Достоевского становится «не психологический отчет о переживаниях преступника, а разоблачение философского оправдания преступления» (2004, с. 61).

Одним из возможных источников сюжета стало реальное преступление – дело Герасима Чистова об убийстве «двух старух – кухарки и прачки – с целью ограбления их хозяйки» (Достоевский, 1973b, с. 332), которое, по мнению Т. И. Орнатской, «могло дать ряд штрихов для изображения некоторых обстоятельств преступления Раскольникова» (1987, с. 48). Герой черновиков руководствовался простой эгоистической «программой»: «Прожить без людей. Умереть гордо, заплатив горой добра и пользы за мелочное и смешное преступление юности» (Достоевский, 1973b, с. 90); главным побуждением к его спасению уже тогда становилось «развитие любви к дочери Мармеладова» (Достоевский, 1973b, с. 90).

Наиболее значимым изменением стал отказ от повествования от первого лица (Иванчикова, 2001, с. 118; Rosenshield, 1973) в пользу рассказа «от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего существа, но не оставляя его ни на минуту» (Достоевский, 1973b, с. 146). Одновременно Раскольников превращался из героя эгоистической «программы» в гордого бывшего студента, одержимого идеей. Эта трансформация объясняется тем, что комплекс самобичевания заставил писателя художественно исследовать собственное политическое «преступление», его мотивы и возможные последствия, сделав героя вымышленным «заместителем» молодого петрашевца.

Раскольников как двойник Достоевского-петрашевца

А. А. Алексеев оговаривает, что «в отличие от уголовного преступника Раскольникова, его создатель был преступником политическим», но тут же признает: «…в момент написания “Преступления и наказания” великий художник уже не видел какого-либо принципиального отличия уголовника от революционера <…> и тут и там в основание будущего счастья кладется чужое несчастье или чужая кровь» (2004, с. 59). Сходство героя и автора, однако, еще глубже: Раскольников предстает воплощением Достоевского-атеиста, охваченного социалистическими идеалами, доведенными до логического конца.

Как и автор, Раскольников раздвоен между верой и неверием: с оформлением концепции героя, по наблюдению Н. А. Тарасовой (2016, с. 65), связана именно «проблема веры и неверия». Его атеизм носит бунтарский характер и направлен против несправедливого устройства мира, исправить которое Богу, как кажется герою, не под силу; его формулой служит мысль о том, что «все в руках человека» (Достоевский, 1973а, с. 6). Чтобы взять на себя «ответственность за судьбу мира», Раскольникову было «необходимо увериться в небытии Божием»; вместе с тем он «*не уверен*» в своем неверии (Касаткина, 1994, с. 83), и, согласно преобладающему в науке мнению, в нем «происходит борьба рационального и сердечного начал» (Тарасова, 2016, с. 78). Этот бунтарский настрой восходит к разочарованию самого Достоевского в социальном строе империи, которое под влиянием Белинского привело его к отречению от Бога, а затем – к петрашевцам; колебания же героя между неверием и скрытой верой соответствуют колебаниям молодого писателя между влиянием учителя и смутным религиозным чувством, воспитанным с детства. Эту двойственность – главный симптом авторского комплекса – Достоевский и передает герою.

Теория о двух разрядах людей, из которых «первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели» (Достоевский, 1973а, с. 200-201), сочетает эгоистическую претензию на исключительность с утопической мечтой: «…у меня все равносильное право имеют, и – vive la guerre éternelle (да здравствует вечная война. – *Н. К.*), – до Нового Иерусалима, разумеется!» (Достоевский, 1973а, с. 201). Тему «золотого века» у Достоевского, как отмечает Тарасова, «принято соотносить с идеями утопического социализма, оказавшими влияние на мировоззрение писателя» (2016, с. 71), и в том же контексте во многих работах трактуются слова Раскольникова о Новом Иерусалиме. Сам герой, по наблюдению М. Биба, оправдывает убийство тем, что он «свершит правосудие, раздав ее (процентщицы. – *Н. К.*) неправедно нажитые богатства более достойным беднякам», или, что вероятнее, оплатит образование, которое должно «сделать его благодетелем человечества» (Beebe, 1955, p. 152). Показательно, что «благая» сторона теории чаще звучит из чужих уст: решающим толчком к преступлению становится подслушанный в трактире разговор, где на одной стороне – «злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная», на другой – «сотни, тысячи, может быть, существований», которые можно спасти на ее деньги (Достоевский, 1973а, с. 54). Посредством убийства герой, по словам В. М. Герция, «решает еще и социальную дилемму» (2015, с. 255), а само преступление в одном из своих планов, по В. Е. Ветловской, есть «сведенный к минимуму вариант социальной революции» (1996, с. 92). Раскольников, как и Достоевский-петрашевец, – идеалист, готовый ради переустройства мира к насилию, и его преступление предстает логическим продолжением политического «преступления» автора, не успевшего перейти к действиям до ареста.

Разоблачение теории становится самосудом. Герой даже не заглядывает в похищенный кошелек и не может объяснить себе, «из-за чего все муки принял» (Достоевский, 1973а, с. 86); услышав от Лужина эгоистическую версию своей теории, возражает: «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать…» (Достоевский, 1973а, с. 118); наконец, признается Соне, что «хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил» (Достоевский, 1973а, с. 318), и раскрывает подлинную цель преступления: «Тварь ли я дрожащая или *право* имею…» (Достоевский, 1973а, с. 322). Убийство оказывается «пробой», проверкой права на исключительность (Beebe, 1955, p. 154); нравственно-психологические предпосылки теории Б. Н. Тихомиров (1992, с. 47) находит в словах героя, отказывающегося дожидаться «всеобщего счастья»: «Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу…» (Достоевский, 1973а, с. 211), – то есть в его личном «хотении». М. Биб называет убийство «отчасти актом агрессивной похоти» (Beebe, 1955, p. 155). Через двойника писатель осуждает себя в молодости как гордого теоретика, готового пролить чужую кровь во имя внешне благих целей, а свое участие в обществе Спешнева представляет симптомом гордыни одинокой личности, втайне стремившейся к власти над окружающими «вшами». Раскольников оказывается носителем той установки, которую психологи называют одной из целей самонаказания, – стремления глубже понять собственный проступок.

Тем же целям служит новая повествовательная форма. Рассказ «от имени автора», неотступно следующего за героем, позволил Достоевскому одновременно изображать внутренний мир Раскольникова и оценивать его. По наблюдению Д. О. Томпсон, «хотя по большей части голос рассказчика передает мысли героя, иногда рассказчик вставляет “от себя” свои оценочные замечания о совести или подсказывает идеи, которые содержат косвенные обвинения героя» (1998, с. 366). Таковы слова о Раскольникове, который «был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток…» (Достоевский, 1973а, с. 247), или замечание о том, что перед преступлением «казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений» (Достоевский, 1973а, с. 58). С учетом авторской формулы рассказа «от имени автора» такие оценки допустимо считать суждениями Достоевского о себе прежнем. Вместе с тем несобственно-прямая речь переходит «в “собственную” речь героя – в его внутренний монолог» (Иванчикова, 2001, с. 118), что свидетельствует об эмоционально-идеологической близости героя и автора; писатель «не спорит с героем, обличающим зло несправедливо устроенного мира. Полемика возникает там, где речь заходит о способах его переустройства» (Ветловская, 1996, с. 91).

Эпилог: каторга героя и каторга автора

Отчуждение героя от людей внесено в роман сознательно: в письме М. Н. Каткову 1865 г. Достоевский пишет, что «чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его» (Достоевский, 1985b, с. 137). В монологах Раскольникова, как показывает М. Л. Ковсан, местоимение «я» напряженно противопоставлено «они», а затем «поглощенный и поглощаемый теорией» герой «теряет индивидуальность»: его «я» «заменяется обобщенным “он”» (1988, с. 78-79). Утратив

связь с людьми, герой утрачивает и связь с самим собой. В этом отражается главное проявление авторского комплекса: неверие в широком смысле слова становится преградой, не позволяющей ни герою, ни автору установить подлинную связь с другими.

В эпилоге Раскольников оказывается там же, где за пятнадцать лет до того оказался его создатель, – на сибирской каторге, и здесь воспроизводятся ключевые моменты авторского опыта. Первый – отказ от раскаяния: «Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною» (Достоевский, 1973a, с. 417); подобно петрашевцам на эшафоте, герой не считает свое «дело» преступлением. Второй – отчуждение от народа, которое на каторге становится буквальным: «Его же самого не любили и избегали все» (Достоевский, 1973a, с. 418), а однажды каторжные набрасываются на него с криком «Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! <…> Убить тебя надо», хотя он «никогда не говорил с ними о боге и о вере» (Достоевский, 1973a, с. 419). Народ безошибочно распознает в герое то, что выше было определено как корень авторского комплекса, – разрыв с Богом, равнозначный разрыву с «богоносным» народом; враждебность каторжных к дворянину Достоевский испытал и сам: «Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостию о нашем горе», – писал он брату из Омска (Достоевский, 1985a, с. 169). Третий – образ идеи как одержимости: в болезненном сне героя новые трихины – это «духи, одаренные умом и волей», а принявшие их люди становятся «бесноватыми и сумасшедшими» (Достоевский, 1973a, с. 419). Идеи-«духи», вселяющиеся в людей, – точный образ отношения автора к собственным прежним убеждениям, а слово «бесноватые» предвещает «Бесов». Наконец, воскресение героя начинается с той же книги, что и «перерождение убеждений» автора: «Под подушкой его лежало Евангелие. <…> Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря» (Достоевский, 1973a, с. 422). Евангелие Сони в остроге соответствует Евангелию Фонвизиной – единственной книге Достоевского на каторге.

Сходны и пути героя и автора к покаянию. Большинство исследователей «придерживается мнения о том, что герой не испытывает раскаяния вплоть до эпилога к роману» (Тарасова, 2016, с. 77), и, по наблюдению А. А. Алексеева, «уже находясь на каторге, Достоевский так же, как и его будущий герой, долго не признавал себя преступником» (2004, с. 59). Совпадает и цель покаяния: герой, по словам писателя, «принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям» (Достоевский, 1985b, с. 137); им, по М. Бибу, «движет желание признаться и принять свое наказание», проявляющееся в постоянных «полупризнаниях» и в «возвращении на место преступления» (Beebe, 1955, p. 156-157). После тяжелой болезни на каторге Раскольников, по словам Герция, «вновь обращается к людям», и «вероятно, в этом и видится автору цель искупления» (Герций, 2015, с. 255). Как и писатель на каторге, герой принимает страдание ради примирения с народом, от которого его отделило преступление. Различие же в том, что Раскольников сам является с повинной, тогда как Достоевский своей вины на следствии не признал; перемена в нем началась лишь на каторге и, по его признанию, произошла «не так скоро <…>, а постепенно и после очень-очень долгого времени» (Достоевский, 1980, с. 134). Роман служит тому свидетельством.

Заключение

Проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам. Во-первых, сопоставление психологического понятия самонаказания с психоаналитическими трактовками личности Достоевского показало, что З. Фрейд (1995), И. Нейфельд (1994) и И. Д. Ермаков (1999) верно распознали в писателе черты, образующие структуру самонаказания в современном его понимании: навязчивое чувство вины, потребность в наказании, реализуемую в исповедальном творчестве, и внутреннюю двойственность, порождающую двойников. Ошибочным, однако, оказалось приписывание этих черт эдипальному комплексу: такая трактовка сводит творчество писателя к повторению одного мотива и не опирается на документально подтвержденные факты его биографии. Понятие самонаказания позволяет сохранить плодотворные наблюдения психоаналитиков, связав чувство вины писателя с его реальным «проступком».

Во-вторых, реконструкция биографических истоков комплекса вины показала, что таким «проступком» стало участие Достоевского в тайном обществе Н. А. Спешнева, впоследствии осознанное им как отречение от Бога и разрыв с «богоносным» русским народом. На эшафоте петрашевцы отказались от покаяния, а перемена убеждений началась лишь на каторге, через соединение с народом и обращение к Евангелию, и совершалась постепенно. Писатель не мог ни окончательно отречься от прежних убеждений, ни оправдать их – вина не разрешилась однократным покаянием и требовала самонаказания; главным симптомом комплекса стали колебания между верой и неверием, главной формой самонаказания – творчество.

В-третьих, анализ творческой истории и текста романа показал, что данный комплекс вложен в поэтику «Преступления и наказания». Замысел исповедального романа, с которым есть основания связывать «Преступление и наказание», сложился у Достоевского на каторге, а в ранней редакции роман писался как исповедь убийцы; переход к рассказу «от имени автора» позволил писателю одновременно изображать внутренний мир героя и судить его. Раскольников в ходе написания романа превратился из героя эгоистической «программы» в одержимого идеей бывшего студента и тем самым стал идеологическим двойником Достоевского-петрашевца: его теория соединяет претензию на исключительность с утопической мечтой о переустройстве мира, преступление оказывается логическим продолжением политического «преступления» автора, а разоблачение теории становится самосудом. Эпилог переносит героя в обстоятельства, пережитые писателем: отказ

признать свое «дело» преступлением, отчуждение от народа и враждебность каторжных, образ идеи как одержимости, начало воскресения через Евангелие. Роман, таким образом, может быть прочитан как «явка с повинной» – публичная исповедь, созданная ради искупления и примирения с народом.

В качестве перспектив дальнейшего исследования можно назвать анализ романа «Бесы» и других произведений послекаторжного периода: если тот же механизм самонаказания обнаружится и в них, можно будет говорить о ритуале самобичевания.

Материалы исследования | Research materials

1. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1973a. Т. 6.
2. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1973b. Т. 7.
3. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1980. Т. 21.
4. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1985a. Т. 28. Кн. 1.
5. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1985b Т. 28. Кн. 2.

Источники | References

1. Алексеев А. А. От замысла к воплощению: проблема авторской позиции в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» // Филологический класс. 2004. № 2 (12).
2. Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. Т. 6: Проблемы поэтики Достоевского. 1963; Работы 1960-1970-х гг.
3. Большев А. О. Шедевры русской прозы в свете психобиографического подхода. СПб.: Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2011.
4. Ветловская В. Е. Приемы идеологической полемики в «Преступлении и наказании» Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. 1996. Т. 12.
5. Герций В. М. Вина и страдание в структуре «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7. № 6-1. https://doi.org/10.17748/2075-9908-2015-7-6/1-255-259
6. Горностаева С. А. Психоаналитики первой четверти XX в. о «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27. № 1. https://doi.org/10.34216/1998-0817-2021-27-1-161-165
7. Ермаков И. Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. М.: Новое литературное обозрение, 1999.
8. Иванчикова Е. А. Автор и его герои в повествовательной структуре «Преступления и наказания» // Достоевский. Материалы и исследования. 2001. Т. 16.
9. Калашников В. Г. Контекстный подход к литературоведению: Достоевский и психоанализ // Образование и наука. 2016. № 8. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2016-8-155-172
10. Касаткина Т. А. Категория пространства в восприятии личности трагической мироориентации (Раскольников) // Достоевский. Материалы и исследования. 1994. Т. 11.
11. Ковсан М. Л. «Преступление и наказание»: «всё» и «он» // Достоевский. Материалы и исследования. 1988. Т. 8.
12. Мочульский К. В. Достоевский: жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press, 1980.
13. Нейфельд И. Достоевский: психоаналитический очерк под редакцией проф. З. Фрейда // Зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль / сост. В. М. Лейбин. М.: Республика, 1994.
14. Орнатская Т. И. К истории создания романа «Преступление и наказание» // Достоевский. Материалы и исследования. 1987. Т. 7.
15. Тарасова Н. А. Концепция героя в романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского: христианский аспект образа Раскольникова // Русская литература. 2016. № 1.
16. Тихомиров Б. Н. К вопросу о «прототипах образа идеи» в романах Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. 1992. Т. 10.
17. Томпсон Д. О. Проблемы совести в «Преступлении и наказании» // Проблемы исторической поэтики. 1998. Вып. 5.
18. Турышева О. Н. Вина как предмет художественной мысли: Ф. М. Достоевский, Ф. Кафка, Л. фон Триер. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2017.
19. Фрейд З. Достоевский и отцеубийство // Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1995.
20. Beebe M. The Three Motives of Raskolnikov: A Reinterpretation of Crime and Punishment // College English. 1955. Vol. 17. Issue 3. https://doi.org/10.2307/495737
21. Burry A. Execution, Trauma, and Recovery in Dostoevsky's "The Idiot" // The Slavic and East European Journal. 2010. Vol. 54. Issue 2.
22. Frank J. Dostoevsky: The Years of Ordeal, 1850-1859. Princeton: Princeton University Press, 1983. https://doi.org/10.1515/9780691209388
23. Kelly A. Dostoevskii and the Divided Conscience // Slavic Review. 1988. Vol. 47. Issue 2. https://doi.org/10.2307/2498466
24. Mindess H. Freud on Dostoevsky // The American Scholar. 1967. Vol. 36. Issue 3.

25. Rosenshield G. First- versus Third-Person Narration in Crime and Punishment // The Slavic and East European Journal. 1973. Vol. 17. Issue 4. https://doi.org/10.2307/305635
26. Vel-Palumbo M., de, Woodyatt L., Wenzel M. Why Do We Self-Punish? Perceptions of the Motives and Impact of Self-Punishment outside the Laboratory // European Journal of Social Psychology. 2018. Vol. 48. Issue 6. https://doi.org/10.1002/ejsp.2368

Информация об авторах | Author information

RU

Кирум Николас Морган[1]
[1] Школа «АСПЕКТ», г. Санкт-Петербург

EN

Nicholas Morgan Kierum[1]
[1] ASPECT School, St. Petersburg

[1] *nickkierum@gmail.com*

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 08.10.2026; опубликовано online (published online): 09.11.2026.

Ключевые слова (keywords): Ф. М. Достоевский; роман «Преступление и наказание»; авторское самобичевание; комплекс вины; кружок петрашевцев; Fyodor Dostoevsky; novel “Crime and Punishment”; authorial self-flagellation; guilt complex; Petrashevsky Circle.